

НА ЯПОНСКОЙ ВЫСТАВКѢ.¹

I

[111]

За гранью обычно оформленнаго слагается особый языкъ.

Несказанное чувствованіе. Тамъ вспыхиваетъ между нами тайная связь. Тамъ понимаемъ другъ друга неожиданными рунами жизни; начинаемъ познавать встрѣчное взоромъ близкимъ вѣчному чуду.

Чудо жизни побѣдное и страшное! Чудо, заполняющее всѣ глубины природы, подножіе вершинъ бытія! Оно рѣдко выявляется рукой человѣка.

Египетъ, Мексика, Индія.... — чудно, но не явно. Узоры прекрасные, сверкающіе блески, но ткань уже истлѣла. Но живы еще волокна жизни, сплетенной старыми японцами. Ароматъ сказки еще струится надъ желтѣющими листьями, надъ стальною патиною лаковъ.

Глазу живому — горизонтъ необъятный. Сложенное старымъ японцемъ учить и поражаетъ. Ослѣпляющая задорная жизнь: правда великаго въ маломъ. Тончайшій іероглифъ жизни — рисунокъ, въ многообразіи подробностей сохранившій полный характеръ общаго. Высшая законность въ силѣ беззаконнаго размаха. Невинность въ призракѣ безстыдства. Дьявольская убѣдительность фантастики. Пѣсня чудесныхъ гармоній красокъ, которая одна только можетъ успокоить наше подстрѣленное сознаніе; особенно сейчасъ.

Вершины Искусства, часто чуждые намъ, преобразились въ японскомъ Искусствѣ.

[112]

И мы все-таки далеки отъ этой волшебной ткани—жизни. Говорю „все-таки”, — въ немъ и печаль объ античномъ и горе его сознанія; въ немъ

¹ «На японской выставке», *Золотое руно*, 1906, №1, 111-17.

подавленность громадами наших музеев и гордость нашими исканіями, и ужасъ закоптѣлыхъ заслонокъ нашей жизни.....

Всѣ наши пороги Искусства, гдѣ мы спотыкаемся, старый японецъ попираетъ смѣло. Аристократизмъ Искусства, народность, романтизмъ, символика, сюжетность, историчность, этнографія, — все намъ и милое и чуждое, — все сочеталось въ старомъ японцѣ, и все презрѣно; все претворилось въ красивое.

И это „красивое” — неопасное слово.

Имѣеть право не обходить такихъ словъ — народъ, выходящій весною изъ города привѣтствовать пробужденную природу; народъ, каждый день разбирающій свои сокровища — картины; народъ, не находящій возможнымъ даже сказать художнику цѣну художественнаго произведенія. Гдѣ, какъ не въ Японіи, такое количество собраній Искусства? Въ какой другой странѣ настолько почетно назваться собирателемъ художественныхъ произведеній?

И рожденный такою странною художникъ имѣеть высокое право вѣры въ себя; и безмѣрное его трудолюбіе, и безчисленность твореній его — не ярмо работы, а незамѣтные ему самому слѣды стремительнаго блестящаго порыва.

Правда, только такимъ необузданнымъ порывомъ проникновенія своимъ дѣломъ могли создаваться и гигантскія фигуры боговъ, и большія панно, широко залитыя потоками краски, магически остановленной въ границахъ вѣрныхъ контуровъ. Только бодрая жизнь могла разсыпать тончайшія графическія мелочи; какъ часто передъ ними графики Запада являются грубо преднамѣренными! Не обращаясь даже къ древности, — лишь въ предѣлахъ среднихъ вѣковъ, и Востокъ, и Западъ охватываетъ полоса высокаго проникновенія дѣйствительностью: пониманіе просвѣтленности горизонтовъ, неожиданность расположенія фигуръ, чутье въ украшеніи книги и рукописи, тогда еще дѣйствительно значительной, еще не перешедшей въ подавляющій хаосъ исписанной бумаги нашей современности.

Укоризна стараго японца намъ страшнѣе случайныхъ осужденій
большинства исторій объ Искусствѣ.

О теченіяхъ японскаго Искусства мы можемъ судить только
относительно. Наши мѣрила, безъ сомнѣнія, нечувствительны ко многому,
вполнѣ явному въ разборѣ самихъ японцевъ. Факты и свѣдѣнія о Японіи,
быстро нарастающіе, все-таки не открываютъ намъ многихъ сторонъ жизни ея
Искусства. Борьба „декадента” Хоксая съ придворными мастерами намъ не
убѣдительно; мы не вполнѣ представляемъ,

[113]

въ чемъ тоже красивые предшественники Хоксая враждовали съ его вещами.

Мало того, что среднихъ художниковъ Японіи мы можемъ различать
лишь формально, мы съ трудомъ можемъ представить себѣ картину, какъ
расходились по всѣмъ угламъ страны рисунки и оттиски въ блестящемъ шестіи
феодаловъ отъ двора Микадо и какъ подходилъ народъ къ этимъ подаркамъ.

Одно только ясно: культура Искусства Японіи имѣла прочную почву, и
народъ принялъ ее, освятивъ всѣмъ строемъ жизни. Обратное намъ, гдѣ
культура Искусства, непрошенная, врывается въ жизнь страны извнѣ, отъ
ненужныхъ народу мечтателей. Будетъ ли Искусство въ Россіи или страна
избавится отъ него, — это будетъ заботою не многихъ милліоновъ народа, но
обидно малой кучки людей... Знаю, какъ такое состояніе наше будутъ
оправдывать и объяснять, но положеніе вещей отъ того, право, не улучшается.

О старыхъ японцахъ можно говорить или очень кратко, набросавъ только
рѣзкія, всегда поразительныя черты ихъ работы, или придется сказать не
замѣткой, а такъ же подробно, какъ властно привлекаетъ къ себѣ ихъ много-
гранная работа. Душа стараго японца не вмѣстилась на выставкѣ, выставка
захватила лишь нѣкоторые блески этой души.

Пѣсня — старымъ японцамъ. О новыхъ — другое. Неужели н здѣсь уже работаетъ гильотина европейской культуры?

Все загрубѣло: рыцарь и бардъ умерли, и доспѣхи ихъ теперь — странныя пятна бутафоріи. Природа все та же, тѣ же волны вишневыя, тѣ же бездны акацій, піоновъ, тюльпановъ, но доступъ ихъ къ сердцу закрытъ; творецъ сталъ механикомъ. Грубѣютъ тона и рнсункъ.

Геній обобщенія разсыпался спорными пятнами и мелкими линиями. И нѣтъ новымъ японцамъ оправданія въ томъ, что ихъ лубки безмѣрно выше мерзости, распространяемой въ народѣ у насъ. Мы — не примѣръ. Но придется новому японцу отвѣтить суду исторіи за японскій залъ на прошлой всемірной выставкѣ Парижа. Японцы — парижскіе неоимпрессионисты! Какая жестокая нелѣпость.

Такого новаго не надо. О немъ не хочу говорить.

Теперь японцы скупаютъ обратно многія сокровища свои. Хочу, чтобы это было не историческое достоинство, не

[114]

собирательство; чтобы это было иробужденіе старой мощи Искусства. Хочу, но могу ли желать?

Н. Рерихъ

2 октября, 1905 г-

II

Мы еще мало знаемъ о вліяніяхъ расовой психики на Искусство народовъ. Но этотъ вопросъ обойти нельзя, мысля о японскомъ творествѣ. Ни одинъ народъ не выявилъ яснѣе Искусствомъ духа расы. Потому такъ невольно

сопоставленіе: мы говоримъ: японское Искусство и н а ш е Искусство, независимо отъ характера и силы дарованія того или другого мастера — на европейскомъ материкѣ и въ далекой странѣ Хокусая. Чаруясь какемонами японцевъ, мы знаемъ, что любимъ ихъ не такъ, какъ произведенія Тиціана, Веласкеза, Рембранта, — что вдохновенность Моронобу, Шіуншо, Митсуки, Утамаро — иная, чѣмъ вдохновеніе родныхъ намъ творцовъ.

Въ чемъ же различіе? Какъ опредѣлить его свойство?

Пусть наивные цѣнители спорятъ о томъ, какое изъ искусствъ значительнѣе, „выше”. Пусть доказываютъ, что японцамъ „далѣко до вершинъ европейской живописи”. Что выше и что ниже? Дѣтскій лепетъ непосвященныхъ.

Ницше возвѣстилъ: наша трагедія родилась отъ духа музыки. За нимъ можно сказать: отъ духа музыки — все европейское искусство. Народы бѣлой расы научились слышать раньше, чѣмъ увидѣли. Слепые—они пѣли пѣсни. Глаза еще оставались закрытыми, но душа была исполнена звуковъ. Первобытный оргіазмъ воплотился въ зримые образы ч е р е з ъ творчество слуха. Трагедія и лирика выразили его ритмами словъ; архитектура, ваяніе, живопись — ритмами формъ, линій, красокъ. Все европейское искусство просвѣчиваетъ музыкальной основой, Къ оргійнымъ хорамъ возвращають мраморы Родэна; образы Тиціана и Пювиса — обращенные въ мелодіи красочныхъ постиженій — звоны арфъ.

Европейское искусство — пѣніе. И, можетъ быть, вся духовная культура бѣлой расы — пѣніе. Вотъ почему высшіе ея выразители — поэты и композиторы. Въ этомъ глубина нашего творчества. И въ этомъ его бездонность: соблазны философскихъ и моральныхъ опьяненій, искушенія святости и демонизма, порывы къ надземному свѣту и неземному мраку. И въ этомъ его совершенство — совершенство аполлоновской гармоніи. И въ этомъ его мистика.

Искусство японцевъ — творчество з р и т е л ь н о е. Оно возникло отъ

зоркости, отъ любви и мудрости глаза. Такъ представляется мнѣ психическое отличіе народовъ желтой расы. У нихъ душа странно-замкнутая, стремящаяся къ вы-

[115]

явленіямъ, намъ едва постижимымъ. Героглифъ, знакъ, начертанный символъ — такъ же нужны ей, какъ нужна душѣ благо челоѵка глубина звука и ритма.

Отсюда у японцевъ—поражающая вѣрность рисунка, убѣдительная точность контура, влюбленность во всѣ детали и всѣ мгновности видимаго міра, изысканность красочныхъ пятенъ, культъ выразительныхъ намековъ, примиряющихъ неизбѣжное съ фантастическимъ. Отсюда ихъ знаніе природы и одинаковое восхищеніе всѣми ея царствами: цвѣты, камни, звѣри, облака, люди — одна непрерывная радость для глаза, одинъ волшебнo-призрачный узоръ. Отсюда также чуждость для нихъ „идеальной” красоты и симметріи, прославленныхъ эллинами, и странно-недоразвитое музыкальное чутье.

Японская трагедія не родилась отъ „духа музыки”. Она больше для глазъ, чѣмъ для слуха. Кто видѣлъ Искусство Садо-Якки, тотъ пойметъ меня. Нашему европейскому уху кажутся бѣдными интонаціи голоса; сердцу говоритъ мало рѣзкій пафосъ драматическихъ положеній. За то, какая роскошь стили и цвѣта! Какая сказочная феерія движенія, какая живопись въ этомъ національномъ театрѣ! Герои и героини похожи на райскихъ пестрокрылыхъ птицъ, трепещущихъ въ туманѣ фосфорическихъ озареній. Складки шелковыхъ узорныхъ тканей колеблются, какъ радужныя волны отъ нездѣшняго вѣтра. Въ непрерывной смѣнѣ красокъ и очертаній открывается таинство... Вы не понимаете, о чемъ говорятъ актеры, почему плачутъ и за что грозятъ. Но и не надо понимать, не надо слышать: вы видите.

Можно ли сказать послѣ этого, что японское искусство а-мистично, рационально, позитивно, что оно ограничивается реалистической наблюдательностью и непогрѣшимостью стильныхъ упрощеній, переходящихъ

слишкомъ часто въ бездушное ремесло?

Нѣтъ. Въ творествѣ японцевъ, чуждомъ нашего г л у б и н н а г о мистицизма (и вытекающаго изъ него тяготѣнія къ умозрительной и моральной символикѣ),—своя плоскостная мистика: оргіазмъ зрѣнія. Двумя измѣреніями какъ бы совпадая съ нашимъ Искусствомъ, оно лишено третьяго измѣренія. Но это не недостатокъ. Отсутствие третьяго измѣренія, само по себѣ, создаетъ свойства, плѣнительно-гаинственныя своей несоизмѣримостью съ привычной для насъ красотой.

Новый міръ, новые законы, новая безконечность.

Менѣе индивидуальной, чѣмъ европейская живопись, представляется живопись какемонъ — но не потому ли, что мы не умѣемъ за общимъ почувствовать отдѣльное въ этомъ Искусствѣ съ черезчуръ иными, не нашими точками отправленія? Можетъ-быть, когда-нибудь сумѣемъ. И тогда рисунки

[116]

Сукенобу и Хокусая покажутся нам такими же глубоко-индивидуальными, какъ рисунки Леонардо л Дюрера. Общность расовыхъ чертъ даетъ иллюзію однообразія, коллективизма. Но настанетъ время, когда критическій анализъ проникнетъ за всѣ потаенные рубежи художческаго созиданія, и область прекраснаго расширится... Въ извивахъ стилистой линіи, въ нѣжныхъ переходахъ цвѣта мы прослѣдимъ услліе одинокихъ раздумій, восторгъ и муку творящаго „я”.

Искусство японцевъ—магія зрительныхъ постиженій. Потому оно такъ чисто, такъ дѣвственно-живописно, и потому европейскій живописецъ можетъ безнаказанно учиться у него. Примѣръ — современный импрессионизмъ, столь многимъ обязанный японцамъ. Наоборотъ, приближеніе къ европейскому творчеству д о л ж н о быть губительно для японцевъ. „Третье измѣреніе” нарушаетъ чары плоскостной мистики. Остаются только внѣшніе признаки,

магія меркнеть: вмѣсто выраженія — гримаса, манера — вмѣсто стилия. И это мы наблюдаемъ.

Но къ старому возврата нѣтъ. Древняя Японія умерла навѣки. Возродится ли ея Искусство въ формахъ новыхъ, но такихъ же прекрасныхъ, такихъ же родныхъ національному духу? Возникнетъ ли еще невѣдомый расцвѣтъ? Будемъ вѣрить.

Хочется вѣрить, что народъ, доказавшій силу свою подвигами на поляхъ крови и разрушенія, не утратилъ силы для подвига созиданія на мирныхъ поляхъ красоты.

Сергѣй Маковскій.

2 окт. 1905.

III

Изъ японскихъ живописцевъ мнѣ особенно дороги тѣ, которые любятъ и выслѣживаютъ природу въ ея случайныхъ, мимолетныхъ откровеніяхъ.

На днѣ священнаго пруда, въ серебристой проточной водѣ, шевельнулась огромная рыба, дремавшая подъ уступчатымъ камнемъ... Она двинула разъ-другой широкимъ хвостомъ, и длинные мощные плавники понесли ее вверхъ, къ тому мѣсту, гдѣ, сквозь прозрачныя струи, блѣлась личинка насѣкомаго, брошенная съ берега.

Заколыхалась вода вокругъ этой личинки. Точно незримый волшебникъ провелъ по ея поверхности рукою! Легкая зыбь разбѣжалась во всѣ стороны, ровный отсвѣтъ солнца раздробился на мелкія искры, и вотъ изъ воды, на одинъ единственный мнгъ, высунулась чудовищная голова съ разинутой пастью, съ большими, круглыми, словно бронзовыми,

[117]

глазами... Схвативъ свою добычу, рыба опустилась на дно. И снова покой, серебряная гладь...

Но какъ ни коротко было то мгновение, художникъ успѣлъ подмѣтить всѣ его подробности, запомнилъ и дрожь, и блескъ воды, и хищно-тупой взглядъ рыбаго глаза; и кисть его, въ небрежныхъ, но безукоризненно-вѣрныхъ намекахъ, расскажетъ все, что видѣлъ и пережилъ его художнической глазь. Мгновение стало достояніемъ искусства — и переживетъ художника.

Далеко до такого мастерства тому, что мы, европейцы, привыкли называть „nature morte” — мертвой природой! На нашихъ картинахъ цвѣты не дышутъ; бабочки не трепещутъ крыльями; изумрудныя ящерицы не уставляются на насъ своими крошечными, умными глазами, блестящими, какъ булавочныя головки.

Наши предки любили природу въ ея неподвижности; они умертвили движеніе.

Пусть же скромные японскіе мастера, столь загадочные и все-таки — столь близкіе для насъ, помогутъ тѣмъ изъ молодыхъ нашихъ живописцевъ, которые, наконецъ, поняли, что въ ихъ искусствѣ, какъ и въ музыкѣ, нѣтъ красоты безъ движенія, безъ ритма, и что въ каждомъ мгновении, самомъ случайномъ, самомъ ничтожномъ, отражается вѣчность.

В. Голубевъ.

2 окт. 1905.